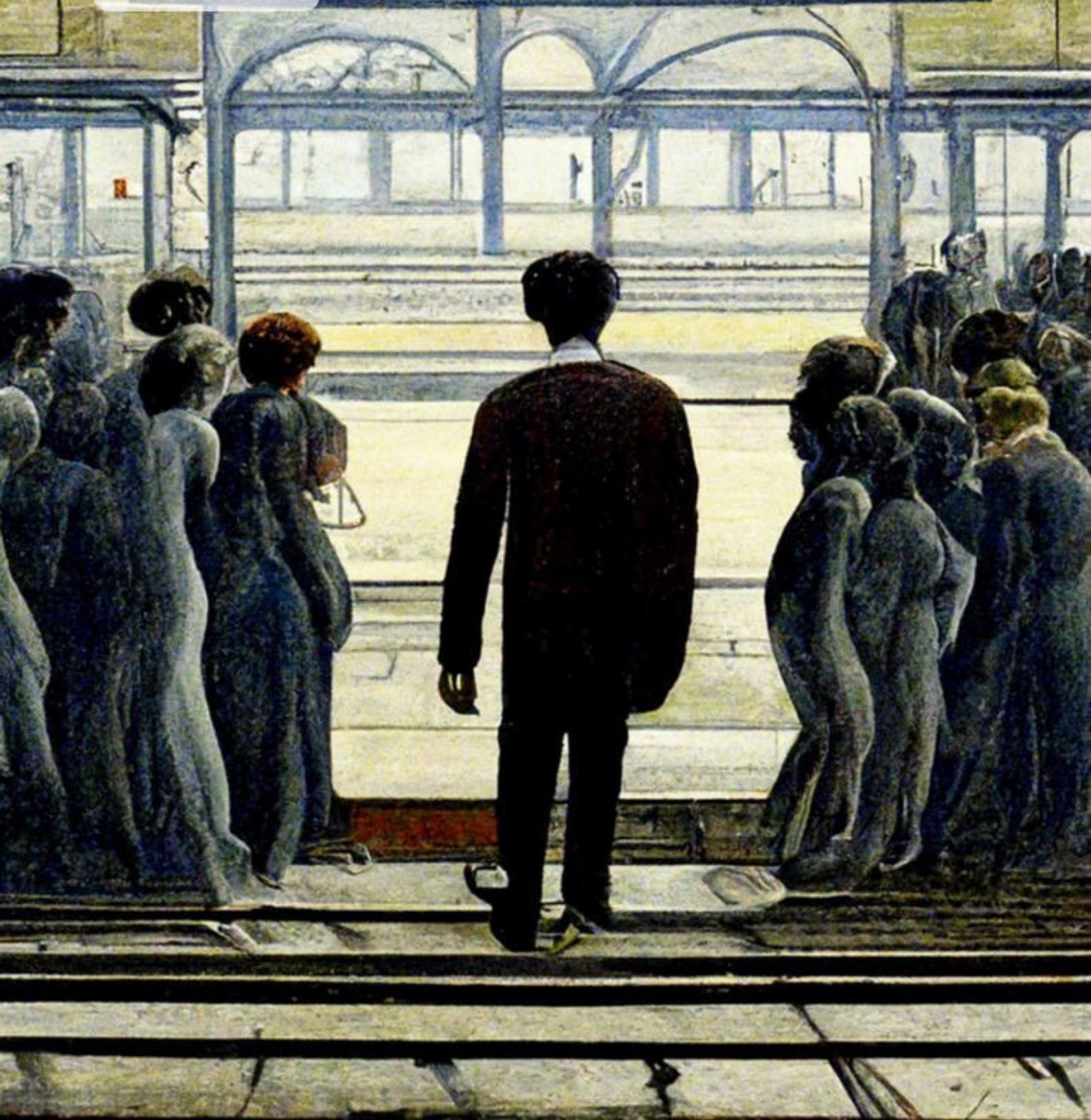


ЯН ВОРОЖЦОВ

18+



ОТСЮДА ЛУЧШЕ ВИДНО НЕБО

Ян Ворожцов

Отсюда лучше видно небо

«Издательские решения»

Ворожцов Я.

Отсюда лучше видно небо / Я. Ворожцов — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-00-502245-5

В период перестройки мучимый вымышленной болезнью молодой человек по имени Владислав по решению отца переезжает из родного городка в Ленинград. Питающий глубокую привязанность к отцу-коммунисту, Владислав не может свыкнуться с переездом в чужой, незнакомый ему город и крушением привычного строя общества — с первых же дней переезда он теряет чувство реальности и задается единственным вопросом: почему отец выгнал его из дома?

ISBN 978-5-00-502245-5

© Ворожцов Я.
© Издательские решения

Содержание

1	6
2	10
3	15
Конец ознакомительного фрагмента.	21

Отсюда лучше видно небо

Ян Ворожцов

© Ян Ворожцов, 2024

ISBN 978-5-0050-2245-5

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

1

Владислав стоял на перроне, с покорной вежливостью пропуская вперед себя поток пассажиров, заполняющих вагон электрички.

Отбывать в Ленинград не хотелось, и молодой человек с болезненной надеждой косился на вершителей судьбы, провожавших его в незаслуженную ссылку. Отец стоял поодаль в потрепанном пальто – разомлевший от сладостных поцелуев летней жары, с тросточкой, на которую опирался, с добрыми глазами, с какой-то неумело обнадеживающей прощальной улыбкой на губах. Своей небритой сизой щекой он терся о вульгарное плечо тетки, Акулины Евдокимовны. Она склонила к нему голову и что-то нашептывала, блестящими глазами поглядывая на Владислава.

«Заговорщики...» – подумал он и попытался куда-то деть свой взгляд.

Великолепный, наспех составленный кроссворд неба загадал ему какое-то слово из семи облаков. Час был ранний, кажется, пять утра, и солнце едва-едва пересилило горизонт, будто в усталом зевке перекатываясь на бок. Бледный его свет заиграл на окнах вагона-людоеда, в омраченной душе Владислава, в его лучистой крови, повысив уровень гемоглобина. Вид был красивый, но недолговечный.

Наконец пассажиры пролезли в двери-створки, и крупногабаритный Владислав, ссутулившись, вошел следом за ними и присмотрел свободное место у окна, пока что никем незамеченное.

Тетка помахала ему на прощание, отец подхватил ее инициативу с улыбкой странной радости, которую Владислав лично разделить не мог – он отвернулся и свои бесполезные, полуслепые глаза быстро спрятал под опущенными светло-желтыми ресницами, словно это были украденные у родителей две монетки по пять копеек, на которые он в детстве покупал вкуснейшее эскимо на палочке.

«Эх... В прошлом... – пробормотал он. – Теперь все в прошлом».

До сих пор, уже полмесяца зная о предстоящем, Владислав никак не мог понять экстренной необходимости переезда. Зачем куда-то перемещаться? Ему и в Кексгольме жилось неплохо! Тем более к пространству как таковому он всегда относился лишь как к единице измерения времени. Поэтому чаще интересовался вопросом не «куда», но «надолго ли».

«Надолго я поеду?» – спросил он отца, Виталия Юрьевича.

«На постоянно», – был короткий ответ.

Это стало больше, чем привычкой.

В отличие от других детей, интересовавшихся местом, в котором они пребывали до своего рождения, Владислава всегда интересовало лишь будущее и его место там – его цель, смысл его жизни и ее ценность для мира.

Так уж получилось, что болезненная мать, кое-как его выносившая в свои тридцать, кое-как им разродившаяся, при родах промахнулась Владиславом, и он, неприкаянный душой и обезличенный, полетел в бездонную пропасть, затерявшуюся между двух несовместимых эпох...

К счастью, положение Владислава в Ленинграде предвиделось достаточно стабильным.

Там у их родственницы, весьма вредной, со скверным характером особы, живущей в гордом безбрачном и бездетном одиночестве, имелась жилплощадь, любезно Владиславу выделенная, чтобы было проще обжиться, не обнажая, как ментальный эксгибиционист, психику перед каждым незнакомцем.

Спешить ему некуда...

Пока перепутанные пассажиры пытались сообразоваться, ища, куда втиснуться, Владислав удачно занял место у окна.

Впереди трехчасовой отрезок пути, утомляющее ожидание и гнетущая необходимость мириться с поразительным контрастом: с одной стороны радостно-зеленой свежестью переливчатых далей, блестящих каплями росы в окне, а с другой – грубо проникающей, насильственной силой человеческого присутствия, выраженной в давке, в шуме, в духоте.

Владислав хмуро сдвинул брови, как две кровати в общежитии черт двуспального лица, узлом связал руки на груди и, уставившись исподлобья с задумчивостью на уменьшающегося отца, погрузился в свое пессимистическое предвкушение будущего.

Неодинаковые, никому конкретно не принадлежавшие голоса за его громадной четырехугольной спиной говорили, что это юбилейная, по счету сто первая поездка после трудоемкой электрификации железнодорожной ветки Кексгольм – Ленинград.

Электричка тронулась, словно откололся громоздкий глетчер изгнания.

Кошмарно-однообразная, побежала вдоль путей лесополоса, изредка прерывавшаяся мимолетной поперечиной, выстриженной от кустарника тусклой пустошью.

Поначалу Владислав сидел в странно-напряженной позе – и так было всякий раз, когда он оказывался за пределами сформировавшейся привычки. Он вроде бы начинал существовать не в той форме, в какой существовал внутри нее – и это различие, этот незаполненный промежуток между ним и его представлениями о самом себе, в котором Владислав находился, назывался форой.

Так он и сидел, ощущая, как в нем разрастается неуверенность в себе и в завтрашнем дне, и самого себя, как готовый выстрелить пистолет, обхватил руками, пряча от посторонних.

Посторонними здесь были все. Включая и самого Владислава.

В первые часы поездки кто-то то и дело возникал перед ним: лица сменялись лицами, тела превращались в слезоточивый газ, а неисчерпаемая пустота в бесчисленных своих формах связывалась узлами мускулов, но в накатившем полусне-полубеспамятстве Владислав едва ли замечал происходящее вокруг безобразия.

Беспокойство, одолевавшее его, понемногу стусеивалось, когда в пассажира-переростка вошли вибрирующие ритмы раскачивающегося вагона, маскируясь под его сердцебиение, спутывая дыхание и стимулируя пищеварение. Внизу живота он ощущал разжижение воли и перистальтические сокращения кишечника, сквозь который были проложены дрожащие рельсы.

Казалось, что ни одно явление не было возведено в окончательную степень требуемой полноты, и во всем сквозила готовая вот-вот состояться, но не происходившая обезоруживающая перемена.

Все вокруг было каким-то неясным, не внушающим доверия, будто бы реальность не сбывалась, не добиралась до каждодневных, выработанных привычкой пределов, и теперь знакомый мир, из которого Владислав увез только затаенную обиду и размышления о собственной ненужности, постепенно рассыпался, сменялся новым, чужим.

Он не мог понять, почему?

Почему же... Почему отец выпроводил его из дома?

Объяснение могло быть только одно: потому что устыдился на старости лет и на глазах сына закрутить пошловатую и низкопробную интрижку с сестрицей покойной супруги (с невыдуманной и лучезарной копией любимой женщины).

К чему нужен этот любовный роман, возведенный на руинах прошлого? Немолодому мужчине требовалось плечо более молодой женщины, чем он сам?

«Господи боже, и не стыдно им! Как можно так... Фу, это же просто-напросто отвратительно, мерзко... Эти двое бесстыдников так запросто кувыркаются в койке! Да мать в гробу перевернется...» – мысленно отплеываясь, подумал Владислав.

Ему захотелось вдруг высказаться, сойти на следующем дебаркадере, сесть в такси и вернуться в Кексгольм (под любым предлогом), ну или хотя бы позвонить отцу с телефона-автомата. Да, ему показалось это очень неплохой идеей.

Желательно, чтобы трубку взяла тетка, и Владислав, намекая на набегающий возраст отца, скажет ей своим размашистым голосом:

«Здрасьте, тетя Акулина, позовите-ка моего старика к телефону!» – и он еще глухо усмехнется в обжегшуюся трубку, расслышав отцовские шаркающие шаги, одышку из-за болезни сердца и страдальческий кашель заядлого курильщика.

И тогда он все выскажет, что думает об их интрижке!

С другой стороны, совершенно не хотелось верить, что все это правда. И в какой-то мере Владислав даже постыдился себя.

Нет же!

Как мог человек, которому он с младенчества доверялся во всем, чей авторитет был неоспорим, непререкаем, кто был для него примером для подражания – как мог отец врать сыну и выпроваживать из дома?!

Да и стал бы он, этот мужественный и трудолюбивый человек, этот хлеб коммунистической выпечки, этот ревностно веровавший в христианство мужчина, когда-то вместе с бесплотным радиоведущим провожавший Гагарина в космос и грезивший о чудесах грядущего будущего, – так вот стал бы такой человек всячески урезонивать и подталкивать Владислава к отъезду только потому, что нуждался в женщине?

Потому, что хотел свою бесплодную интрижку утаить? Потому, что устыдился сыну правду в глаза сказать...

Это не только пошло, но и гадко. Глупости какие!

«Нет, быть такого не может. Просто не может... – сказал себе Владислав. – Но все-таки почему?»

Прежде казалось, что Виталий Юрьевич человек несколько большего масштаба.

В сущности своей он всегда был простодушным, приземленным, работающим: вместо горящих ромашковых лугов и самонаводящихся ракет в просвечивающем аквариуме его головы плавал усатый сом космоса, и росли плодящиеся промышленные предприятия, да и воображение его носило исключительно применимый на практике, кооперативный характер.

Работавший в лесопромышленной сфере, он был чрезвычайно взыскателен к самому себе (и к окружающим, впрочем, не к Владиславу) и возглавлял своеобразный общественный комитет дисциплинарной ответственности. Его непринужденный и обязательный возглас «Срабат�аемся!» теперь звучал как бы в приглушенном отдалении...

Да, это раньше отец был гибкий, как герундий, ходил враскачку, по-моряцки, не боясь опрокинуться, тугая послеоперационная кровь струилась в его аляповатых мускулах. Он неистово спиливал однообразные бревна-деревья, с проникновенным воодушевлением расточал экосистему во имя светлого будущего мебели.

Тарелка горячей каши и несколько часов сна восстанавливали потраченные силы.

Но теперь от того неутомимого, пренебрегавшего даже перекурами стахановца лесозаготовительной промышленности не осталось и следа.

И навстречу Владиславу из покоробленной ретроспективы выходил уже совершенно иной человек – состарившийся, ослабший, перенесший инфаркт, переживший смерть двух детей (старшего сына Виталика и промежуточной дочурки Евы) и любимой жены Людмилы.

Впрочем, как человеческое тело Виталий Юрьевич не сильно изменился даже после трагедии: кожа его, бесспорно, слегка забуксовала, отсырели мускулы, в несмелом проеме застегнутой рубахи сиял пронзительной серебристостью переплет седины, а из вулкана грудной клетки – уже не раздавалась вдохновляющая пионерская песнь, а брызгала кровавая овсянка кашля, мокрота и высморканные сопли, и лезла из скривившегося от пьянки рта орава оборотней в погонах гнойных, а ум заполонила саранча интеллектуального бессилия, и внутренности содержали все больше продукции ликеро-водочных магазинов...

Но больше всего, казалось, повредились личностные, нерукотворные свойства Виталия Юрьевича.

Они словно уменьшились вчетверо, как брусок мыла, погружившийся в воду – и это неудивительно, после таких событий. Сам Владислав до сих пор помнит последний звонок матери из Италии.

«Философски ошеломляющий! – сказала Людмила Викторовна о феноменальном, неоднократно премированном, сопровождаемом ирреально-голубым, потусторонне-синим светом спектакле-аттракционе „Прометей“ акробатов Волжанских. – Чудо-чудесное! Я такого еще никогда не видела, сидела и аплодировала как во сне. Виталику и Евочке тоже очень понравилось. Но они устали, и мы завтра вылетаем, так что готовьтесь нас встречать...»

Но на обратном пути из-за технических неполадок произошла однодневная задержка рейса. Вечером на крыле гроба-самолета разлился кроваво-красный десятитонный закат.

Вылет состоялся в четверг.

Спустя несколько часов из-за удара молнии над неуклюжим, неповоротливым тюленьим телом Европы произошла авиакатастрофа.

После этой трагедии Виталий Юрьевич пусть и в меньшей степени, но до сих пор жив – и, видя это расстояние между прошлым и настоящим собой, он, должно быть, разрешил себе в последние годы довольствоваться пробившейся в люди бледной тенью прежней супружеской жизни.

Владислав устало, грустно вздохнул.

«Я надеюсь, ты будешь хоть чуточку счастливее теперь, пап», – подумал он.

Кексгольм тем временем уже остался далеко позади.

Владислав мог только гадать, что его самого ждет.

Электричка неудержимо катила сквозь сжимающийся сфинктер туннеля напрямиком в беспросветную, бритоголовую тьму будущего.

Есть ли ему, Владу, в Ленинграде место? Какая роль ему уготована? Ждут ли его?

Под эти размышления оставшиеся часы поездки пролетели незаметно.

Перед глазами вырисовалось лицо гипертрофированной кондукторши. Вокруг крохотного кокнутого рта, похожего на ошипанную куриную гузку, был выкопан кровавый ров помады. Губы, напыленные на крупные зубы, как гусеничная лента, обнаруживали избыточное сходство с подбитым танком.

«Юноша, юноша! Не спите! – редела в ухо эта карикатура на женщину. – Остановку провороните!»

«Не пятилетка – потерпит», – подумал Владислав.

«Вовсе не сплю. Просто глаза прикрыл, экономлю остатки зрения. Пригожий у вас макияж, гражданка», – выговорил он и сделал глубокий вдох, наполняя грудь несколькими кубометрами залежалого воздуха. Потом взял свой чемодан, защелкнул его и, извиняясь за отдавленные ноги, двинулся сквозь толпу к выходу.

2

На перроне, продуваемом Ленинградскими ветрами, его уже дожидалась родственница, Фемида Борисовна. В помятой панамке, кофточке и джинсах.

Приткнув к переносице сверкнувшие солнечные очки, она с удивлением спросила:

«Тебя что, в поезде выполоскали и выстирали, что ты вышел оттуда белее собственной рубашки?!»

«А это я так по последнему крику мимикрирую», – посмеялся он, но почувствовал еще там, в вагоне, что это была не просто поездка из Кексгольма в Ленинград, это было нечто иное. Словно всех пассажиров, как причудливой формы кегли вздернули куда-то вверх, во тьму, пока они дремали и почитывали газеты, и переставили местами, как-то видоизменили в тайне от них самих, так что теперь собственное полупарализованное тело казалось Владиславу неуклюжей подменой, но ничего доказать было нельзя. Теперь это он.

«Какой ты вымахал... – пропустив мимо ушей его слова, с притворным восторгом, в котором было что-то совершенно противоположное, заметила женщина. – Помню, дед твой тоже был ростом огого! Единственный адекватный мужик был во всем вашем семействе. У него хотя бы мнение было. Ты, правда, только ростом в него... Стремянка нужна, чтобы на тебя влезть».

«А зачем на меня влезать?» – не понял Владислав, но женщина не собиралась объяснять свои слова, сказанные, очевидно, из насмешливости, а не под впечатлением от его неуклюжего гигантизма.

Да, в ужасно тяжелом обмундировании – с португеей позвоночника, патронташем кишечника, бронезиловым плетом, в пуленепробиваемой каске непрекращающейся головной боли – жил этот крошечный внутри, стремящийся к незаметности, суксившийся однокомнатный человек, которому повсюду было некомфортно, неуютно до повышенной потливости, повсюду он был сам не свой и чувствовал себя чужим и ненужным.

«Привет, чемодан, вокзал, Россия! Гуд-бай, все ортодоксальные националисты!» – произнес громким, прибалтийским басом курносый, коренастый мужчина у Владислава за спиной, после чего поднял свой багаж и, как нож, резво двинулся сквозь тающий на солнце плотный толпы.

«Душно, – думал Владислав, – прямо-таки до тошноты. Какая-то нехорошая атмосфера. Недоброжелательная...»

От жары членистоногая плоть вспучилась, одежда зашевелилась и принялась его душить. Странная, будто чужая усталость буквально валила с ног. Сердце забарахлило. Ветер подстрекал его волосы к мятежу против укоренившейся власти расчески. Десантное подразделение жары высадило в тыл его расплавленного затылка.

Ощутил Владислав себя, надо сказать, поганно и внезапно ужаснулся представшей перед ним перспективе прошлого, в которой он теперь не существовал и которая даже не думала оканчиваться на нем.

Но оглядываться поздно...

«Ну ты просто вылитый отец, – насмешливо-язвительно цокнув языком, как-то пренебрежительно и не пойми к чему заключила родственница, после чего тронулась с места. – Пойдем. Чего встал? У меня еще дела в городе».

Напыжившись, Владислав подтянул и плотнее прижал к себе тяжеловесную батарею чемодана, в грудной полости которого будто лежала запасная шина его проколотого сердца.

Родственница заставила Владислава, чуть ли не падающего в обморок от жары и смятения, пройти с ней по магазинам и помочь донести покупки.

«Э, чего это тебя шатает как пьяного? – по пути домой, поинтересовалась Фемида Борисовна. – Смотри, как бы милиции не оказалось рядом, а то подумают, что ты в нетрезвом виде, еще задержат. Потом возись с тобой...»

Выглядел он и вправду измученным, лицо осунулось и сморщилось, слезы стояли в невидящих глазах, разыскивающих за бесчисленные преступления – одно из которых, конечно, большая любовь, сексуальное влечение к непреодолимому расстоянию, что, безусловно, отвратительная парафилия, преследуемая по закону и караемая преждевременной слепотой, а то и смертной казнью в газовой камере.

Человеку не нужно видеть дальше, чем предусмотрено стенами однокомнатной квартиры – а уж в такой Владислав прожил все свои двадцать пять, проживет и те, что осталось...

Спустя час или около того, они уже пришли к дому – такая же многоквартирная могила, многоэтажное кладбище, в каком он был похоронен с сотнями паспортизированных граждан-мумий еще в Кексгольме.

Иссиня-черные мешки теней под вытарашенными глазами пятидесяти проветривающихся балконов, десять тысяч безжизненных кирпичей, безусая мордочка подъезда, приветливо-беззубый рот дверного проема, высунутый язык запыхавшегося коврика под выгнутым козырьком крыши, а в глубине – открывшейся после того, как недовольная родственница придержала ему дверь – ввернута перегревшая лампочка тонзиллитовых гланд.

«Дай я пройду вперед, – сказала женщина, прошмыгнув мимо него и придерживая панамку. – Ключи все равно у меня».

«А квартира-то какая?»

«Тридцатая. На пятом этаже».

Владислав стал подниматься по лестнице и всей онемелой мускулатурой чувствовал он при этом странный, расслаивающий его дискомфорт – словно его кожа, плоть и кости были всего-навсего презентабельным костюмом, в который облачилось нечто воздушное, стихийное, не способное удерживать материю сочлененной.

Тарахтел трактор сердца, пот маршировал по шее вспотевшего Владислава, струился под одеждой преступно-крупными каплями, градинами, жандармами, превращая сгорбленную спину во французскую кинокомедию.

Поднявшись на очередной лестничной марш, Владислав округлившимися от удивления глазами увидел карикатурное в своей отталкивающей вульгарности изображение мужских гениталий, напоминающих перевернутый молот между двух серповидных округлостей, а ниже размашистым почерком был выведен красноречивый призыв...

«Вперед, в СССРекс! Пролетарские болты всех стран – объединяйтесь!»

На подоконнике, выпачканном каплями крови, стояла стеклянная баночка-пепельница и валялись использованный шприц и резинка.

«Ох, мерзость! Ужасная мерзость...» – сделав астматический вдох, мучительный для его невротического сердца, изнуренный одышкой, мямлящий что-то в сгустившейся дымке предобморочного умопомрачения, Владислав смутно запомнил оставшийся подъем по лестничным пролетам.

«Алкоголик чертов!» – буркнул голос ему в спину.

Наконец, шатаясь от немогости в ногах, он увидел свет и полуоткрытую дверь квартиры, из которой почему-то сочился гнусный дух неотремонтированной жилплощади.

От душливо-тошнотворной вони лакокрасочных материалов и моющего средства у него голова пошла кругом и накатила боль в затылке...

Тьма, комната, тьма, комната. Где-то захлопнулась дверь холодильника, и с разбитым смехом вымытой посуды перемешалось чистящее средство от простуды.

В комнату вошла родственница и взмахом руки прогнала сидящие на карнизе шторы, как одомашненных птиц, и напустила в русскоговорящее помещение побольше света. В его лучах пыльно-горячий воздух трепетал, тревожился, искрился.

Владислав, еще минуту назад ничего не помнящий, вдруг обнаружил себя сидящим в кресле.

Как он там оказался, можно было только гадать.

«Тьху, – вздохнула Фемида Борисовна и мелькнула куда-то мимо него. – Уже даже продукты на пятый этаж поднять для него непосильный труд! Разочарование, а не мужчина... Сейчас я искренне не понимаю твоего отца».

Владислав было хотел спросить, о чем она толкует и причем тут отец, но мысль как-то быстро исчезла.

Располовиненный сервант в углу комнаты по прихоти бледной женской руки приоткрылся, что сопровождалось блистательным трюком: в зеркале вся обстановка, совершив обманно-вычурный маневр, сдвинулась. Многомерные предметы на секунду уплотились, а потом все поскакало обратно – отзеркаленной каруселью, лебединой вереницей растянувшаяся рать вещей куда-то побежала, угодив в замкнувшийся туннель очередного зеркала.

Там Владислав среди промелькнувших объектов увидел самого себя в позе эмбриона, погружающегося в упругое чрево обрюхаченного кресла. В сравнении с остальной определенной и обусловленной материей выглядел Владислав весьма-весьма расплывчато и плачевно.

Было ему жарко, плохо – и сердце не хотело биться, будто из него вырвали, как пружину, причину жить, сокращаться, гнать кровь по венам...

К тому же, как выяснилось, прибыл он раньше ожидаемого срока («Ведь Виталий Юрьевич договаривался, что только к лету, а ты мне тут свалился на голову!»), обгоняя свое неотремонтированное будущее на пятнадцать суток.

Понемногу придя в себя, Владислав вспомнил надпись и художества в подъезде, и его лицо залилось отчаянным стыдом просто за то, что он стал свидетелем этого позора.

Он поднялся, постоял у окошка, проветриваясь и дыша, и, пихнув руки в карманы, вышел в коридор.

Поворотов, дверных проемов и углов было больше, чем он ожидал. Квартира оказалась внушительных размеров, хоть и слегка облезлой.

Углов, впрочем, везде и всегда было много. На улицах и в квартирах. Люди питали слабость к углам, стенам и пределам – все эти вещи появлялись в тех местах, где у человека возникала острая потребность отличаться от остальных и иметь личное пространство, свой кусок обезопасенного воздуха, которым можно дышать, не опасаясь от кого-нибудь подцепить национальность, информацию, концепцию, валюту, льготу, партию и все прочее, что может быть куда заразнее вируса иммунодефицита.

Очередной угол образовывался там, где холостяк-коридор, наконец остепенившись, вступал в брак с гостевой комнатой, родив троих детей-инвалидов – пузатый телевизор «Радуга», уродливый диван и кособокое кресло.

«Чего руки по карманам прячешь, как купюры крупного номинала? Видишь, что таскаю мешки... Помог бы хоть!» – сказала родственница, тягавшая продукты, оставленные Владиславом у порога, на кухню.

«Помилуйте, – он растерялся. – У меня с недавних пор привычка».

«Отучивайся, – в металлическом голосе женщины прозвучала профессиональная строгость школьной воспитательницы. – Раз явился несвоевременно, будешь ремонт доканчивать».

«Доканчивать?! – Владислав наморщил свой широкоугольный лоб с запрятанной в нем, как купюра в матрасе, морщиной. – Так тут еще даже ничего не начато!»

Женщина остановилась, выпрямилась и посмотрела в его прищуренные, слезящиеся от напряжения глаза.

«Вот ты и начнешь. А не нравится, то езжай обратно в свой ненаглядный Кексгольм. Может у вас там привыкли в бардаке жить, но не у нас... – и, уходя в другую комнату, вполголоса пренебрежительно фыркнула. – Virшеплет!»

Смиренно-беспомощно, как никому конкретно не адресованное письмо в бутылке, Владислав побарахтался в уплывающем коридоре, демонстрирующем ему свои выблеванные линолеумные ладони.

«Ну, вот я и дома... – подытожил он. – И, в целом... Стены тут по-своему хороши».

Постояв, он наконец прошел в комнату – уютная, хотя и пустая, дрожащая от страха под крупномасштабным вторжением окна, наполненного соседними домами, улицами и прочими линиями самого общего назначения, появившимися задолго до человечества оттуда, куда глаза глядят.

Не торопясь, Владислав принялся разбирать чемодан.

Среди вещей, привезенных им из прошлой жизни, была помятая тетрадка со школьными стихами (правда, свой почерк он вряд ли сумеет расшифровать), а также футляр очков, которые, впрочем, оказались отцовскими. Видимо, второпях и сослепу перепутал.

«Ох, у меня ведь зрение хуже... Как же я буду?!» – плохо он видел с раннего детства, но в последние годы экономика его расточительных глаз, слишком жадно пожиравших спасительное пространство, пребывала если не в депрессии, то в стагнации.

Будущее, за которым Владислав гнался, казалось, не просто опережало его – с ним вообще невозможно было поравняться.

Оно было как бы промахом, априорным непопаданием по несуществующей цели. Бесконечность была преградой для взгляда, вывешенного проветриться.

Может ему там, в будущем, просто нет места? Его там, тут, не ждали. Раньше он только думал об этом, а теперь чувствовал.

И это угнетало...

Не сказать, что и эта комната встречала его с распростертыми объятиями.

А как все-таки хорошо жилось там, в Кексгольме, в их старой квартирке с родными стенами!

Он не чувствовал себя загнанным в угол, не чувствовал себя неоправданным излишеством, чем-то таким бесполезным, как ресница для однокомнатного глаза, которую хотелось выковырять вместе с ее локтями, коленями и прочими заостренными углами и местами сгиба...

«Эх, что поделывать», – особенно не надеясь, что подойдут, Владислав подступился к зеркалу и примерил отцовские очки.

Смотрелись они неплохо, только непоседливо ерзали на переносице, как школьник за минуту до звонка с урока, а кривоватые дужки натирали виски, да и окружающий мир сквозь заляпанные стеклышки, хоть и казался менее незнакомым, больше походил на меблированное сновидение, где каждая простейшая вещь обещала ему осуществление чего-то гораздо большего, чем то, что изначально допустимо в материальной природе.

«Угу...» – удовлетворенно кивнул он самому себе.

Едва Владислав успел присесть, чтобы продолжить разбирать чемодан, как в проеме двери вырисовалась Фемида Борисовна с видом явного недовольства.

«Куда?! – громко спросила она, так что Владислав даже подпрыгнул с дивана. – Запомните хорошенько, Владислав Витальевич, что я не желаю видеть вас бездельничающим до тех самых пор, пока не будет закончен ремонт. Это вы усвоили, я надеюсь?»

Он кивнул, открыв рот и не зная, что ответить.

«Славно, – подытожила родственница и прежде чем уйти добавила. – Кормиться, кстати, будешь за свои деньги. У тебя они есть, я надеюсь? Холодильник у меня не бездонный. И кошелек тоже. Тунеядцев мне не надо, а эпоха твоих виршей осталась в сталинских лагерях. Коммуняка липовый».

Дверь с размаху захлопнулась, и Владислав содрогнулся всем своим студенистым, захлебывающимся существом.

От испуга кольнуло в сердце, с отрывисто-отчетливым грохотом распахнулась в его затылке форточка, и ветер бросился перелистывать тени комнаты, как страницы школьного дневника, и существование выветрившегося Владислава казалось чем-то неоправданным, неподтвержденным, недостоверным.

Он чертыхнулся, вспомнив, что хотел по дороге купить пачку сигарет в каком-нибудь киоске, но теперь уже поздно.

Никуда высовываться совершенно не хотелось, а уже тем более пересекаться с теткой-злопыхательницей.

Она всегда недолюбливала его мать Людмилу, полоумную коммунистку-поэтессу.

А между тем ее стихи, обращенные к бессмертному – родине, обществу, труду, семье, социал-демократизму и заботе о детях – до сих пор стояли в Кексгольмской детской библиотеке и были весьма популярны и любимы как детьми, так и их родителями.

*«Вытрави рептилию царской теократии,
Спасись от крепостной хрестоматии,
Прими алую розу социал-демократии!»*

«Эх!» – с усталым сожалением (всем, на что была способна его сломленная воля) репрессированный Владислав отложил вещи, огляделся и заметил, что в комнате еще не привинчен карниз и нечем будет зашториться от чужого, жуткого пространства снаружи, нечем спастись от своего взгляда на окружающий мир, в котором теперь нет ни матери, ни отца.

3

В школьные годы, не имевший твердо закрепленного за ним ярлыка профессионального ранга и удовлетворяющей запросам квалификации в чем-либо, Владислав из-за своих нечеловеческих габаритов очень просто вписывался в ряды чернорабочих, в состав быстро расходимой, заменимой силы.

К шестнадцати годам довелось ему поработать то там, то сям (и стеклоизделия отжигал, и поды ломал, и струбцину спрессовывал, и сетки натягивал, и абразивы выгружал, и шпон лущил, и ткань взвешивал, и белье отжимал на центрифугах, и целлюлозу месил, и спичечные коробки намазывал, и стержни прессовал, и пиломатериалы пропитывал, и станочником-распиловщиком успел побывать), но работал всегда под руководством квалифицированного напарника или в паре под присмотром отца на деревообрабатывающем заводе, куда Владислава без труда оформляли на лето, с улыбкой встречали, угощали чаем и мягкой послеобеденной булкой.

Не подозревал Владислав, с какой радостной гордостью, едва ли не со слезами на глазах Виталий Юрьевич на пятиминутных перекурах рассказывает соратникам-коммунистам о своем трудолюбивом младшем сыне Владике, о своем надежном воспитаннике, который в пятнадцать лет уже стал самостоятелен, уже везде поработал, уже возмужал и ужасную семейную трагедию, которая чуть самого Виталия Юрьевича не свела в могилу, перерос!

Помнил Владислав, какое к нему отношение было в коллективе. Каждый товарищ отца, заражавшийся его восторгами и гордостью, проходя (с тележкой, переполненной деталями ступлев или налегке) мимо рабочего места Владислава, считал своим долгом непременно остановиться и поощрить его добрым словом.

«Молодчина, Владислав! – говорили они, широко улыбаясь замороченному трудяге-школьнику, вымирающему виду трудящегося. – Вот он, полюбуйтесь на этого запыхавшегося стахановца, гордость своего отца! Владик, ты бы хоть на перекур, что ли... Вернее, на передых, ты ведь не курящий у нас! Нет, я серьезно, Влад, давай на перерыв, с тебя уже пот градом, хоть выжимай. Духота нынче адская. Слышишь? Я покараулю сушилку за тебя полчасика, а то ты прямо герой эпохи ренессанса социалистического труда. За всех работу делаешь. Побольше бы нам такой молодежи, конечно... Эх, побольше бы, а то стариков за сверлильными станками все чаще увидишь, а молодых – все реже! У них то шприцы, презервативы, секс... Ох, что делается!»

Владислав пошел на перерыв, чтобы умыться лицо, а заодно прогулялся по жужжащему муравейнику распиловочного цеха, где в тот день работал Виталий Юрьевич.

«Эй, пап! – громко позвал Владислав и похлопал отца по плечу. – Пойдем на перекур! Мне с тобой поговорить надо!»

«Ну, пойдем... – Виталий Юрьевич выудил из нагрудного кармана рубашки помятую пачку сигарет. – Э, Дениска! Пригляди тут, я отойду на пять минут, ладно?! – и, положив мускулистую руку на плечи Владислава, как хомут, расхохотался и потащил его к выходу из цеха. – Ну как работа, Влад?! Спорится?!»

«Нормально! – они вышли под открытое небо, лучившееся неестественной голубизной и выплавлявшее ярко-белые облака. – Слушай, пап, я поговорить хотел...»

Виталий Юрьевич, улыбаясь, сунул сигарету в зубы и чиркнул спичкой.

«Ну вперед, говори», – сказал он.

«Я не хочу больше учиться. Я уже все для себя решил, – промямлил Владислав. – В школу я в следующем году не вернусь. Не хочу... Мне там ловить нечего. Бесполезное дело. Только зря теряю время. Останусь работать на заводе. До конца жизни буду тут...»

Именно этого Владислав и желал сейчас, когда вспоминал о тех днях, и нынешние желания устремлялись туда же, в прошлое, и растворяли его. Лишь бы была работа, чтобы Владислав не задумывался, чтобы не вынашивал планы о пенсионном возрасте, болезнях и инвалидной коляске, потому что старость, вопреки всеобщей убежденности, не время заслуженного отдыха, когда это старое, одряхлевшее и оскудевшее тело выплачивает какую-то оговоренную задолженность.

Старость это пора, когда прижизненные страсти и мелочные ссоры превращаются в остывшую воду из-под обвисшего крана. Это пора, когда время – превращается в место, а вся оставшаяся жизнь – в безвыходное положение. Пора, когда заблуждения крепнут, превращаясь из вина благодетельной молодости в разлагающий лохмотья души уксус старческого маразма и возрастных ограничений, и когда кроме тела, сторбленного в безразличном знаке вопроса и бесплодно теребящего крохотный писюн пенсии, не остается ничего, только жиденький бульон хронической усталости, головной боли и желания проблеваться.

«Буду работать, пока не сдохну!»

Виталий Юрьевич обалдело усмехнулся.

«Ты что, Влад... – проговорил он, чуть ли не роняя зажженную сигарету изо рта. – С чего это вдруг?! Не пойму, зачем тебе оно надо?!»

«Это бессмысленно, – ответил однозначно Владислав. – Мне не место в школе. Я хочу быть ближе к старшим. К взрослым. Хочу работать».

«Нет, так дело не пойдет, – проговорил Виталий Юрьевич. – Конечно, ты у меня молодец, что понимаешь важность труда, да только не надо никуда торопиться. Я хочу, чтобы ты диплом получил. Закончил школу, а потом продолжил обучение. Даже если хочешь работать здесь или где-то еще, без дальнейшей учебы ты далеко не продвинешься».

«А я и не хочу никуда двигаться, – буркнул Владислав и вдруг поймал себя на мысли, что сейчас разрыдается. – Я уже там, где хочу быть! Мне больше ничего и не надо... Работа есть, что еще?! Я думал, ты обрадуешься и согласишься со мной. Понимаешь?! Я здесь хоть полезен... И не хочу ничего менять. Пусть все остается как есть».

Они недолго постояли в молчании, и Владислав вдруг ощутил дискомфорт. Кажется, их разговор слышали рабочие, перекуривавшие неподалеку стайкой. Он видел их лица, рассыпанные, как корм для голубей, и всем этим лицам, глядящим на него и выпрыгивающим без парашюта, Владислав был не нужен – ему казалось, что они даже посмеиваются над ним. Для них, с его ростом, деформациями тела и странными речами, он был всего-навсего излишне сложной подробностью простенькой перспективы, подлежащей сносу.

Он смотрел на них, желая отвернуться, но не мог, хотя и была возможность выбора. То есть для конъюнктивы важнее предлагаемая возможность и условия, нежели сам выбор, но не для роговицы.

Поэтому, обняв самого себя и дожидаясь слов отца, Владислав стоял, не пытаясь никак угождать очевидцам его случайного бытия, чей интерес к нему постепенно угасал.

Он не пытался угождать их глазам, похожим на простуду или на нераскрывшиеся парашюты, так и не встретившим золотой век коммунизма и обещанную эпоху общемирового прогресса.

«Послушай-ка, Влад, – Виталий Юрьевич поджал губы, пульнул окурок на землю и притоптал. – Хочу, чтобы ты понял одну вещь. Рано или поздно, там, где надолго задерживаешься, ты всегда становишься невидимкой. Это неизбежно и неизменно. Просто через пару лет ты поймешь, что отношение к тебе поменялось, а может, всегда и было таким... В любом случае, ты еще слишком молодой, Влад, чтобы вдруг обнаружить, что потерял свое место в мире».

«Ничего я не теряю! Мне и тут хорошо! И хватит на меня такими глазами смотреть! – распахнулся Владислав и отмахнулся. – Все! Я свое последнее слово сказал. Я бросаю школу!»

Мне не нравится отношение ко мне. Мне не нравится там абсолютно все! Ноги моей там больше не будет. Это мерзкое место».

То было, казалось, настолько давно, что скажи кто Владиславу, то он и не вспомнил бы, как говорил такие слова, не вспомнил бы, что в его жизни был ускользнувший момент, когда он ощущал себя востребованным, нужным, полезным. Возможно, будь он умнее в те годы, он бы добавил, что каждый человек – это великовозрастный ребенок, учимый жить по пятибалльной шкале, ставший жертвой педагогического субъективизма и агрессивной экспансии, и с трудом выбравшийся из мира заниженных оценок и завышенных ожиданий. Но он не был умнее...

Сейчас же с работой приходилось туго. Несмотря на свой рост и кажущуюся могучесть, под одеждой Владислав был худощав и сухоребер, а в последние пару лет физический труд он стал переносить совсем плохо из-за терзающей его сердечной хвори и астматических фортелей, которые выкидывали его прокуренные бронхи.

После некоторых предварительных изысканий (спасибо косвенным связям родственницы) и ста минут запыхавшихся телефонных разговоров конформисту Владиславу посчастливилось, хоть и сомнительно, но утвердиться в безымянной должности в редакцию безымянной газеты.

Требования, предъявляемые ему, были бесхитростны и не нуждались в наличии его бесконфликтной и приспособленческой личности: на все необходимо закрывать глаза, забыть о существовании сторон, мнений, беспринципно перепечатывать любую ложь, правду и факт, ничего не обсуждая, безостановочно приумножать скоропортящийся продукт массовой информации.

Поставив подпись, Владислав, как ему казалось, был готов выйти на работу уже в следующий понедельник.

«Ну как, взяли? – поинтересовалась родственница, не успел Владислав переступить порог квартиры. Коротко ответив, что взяли, он снял туфли и стал расстегивать пиджак. – Молодец, – без энтузиазма похвалила она. – К слову, хочешь быть молодцом вдвойне, подклей уголок обоев у себя в комнате, чтобы было не придраться. Ладно? Ко мне сегодня гости придут. Дальняя родня. Поминки твоей мамы...»

У Владислава брови поползли вверх по лбу от удивления самим собой – и как он мог забыть?! Совершенно вылетело из головы.

«И отец будет?!» – спросил он.

Фемида Борисовна пожала плечами.

«Насколько я знаю, нет. В любом случае, до их приезда, будь добр, приведи квартиру в порядок, – Владислав только сейчас заметил, что родственница прихорошилась, принарядилась и теперь встала перед зеркалом, взяв гребень и с рвуще-расчесывающим звуком принялась прохаживаться им по перепутавшимся волосам. – Я не хочу, чтобы тут был такой бардак, когда соберется народ. А я пока пройду по магазинам. У тебя часа три, не больше».

Владислав с готовностью кивнул и, отступившись, дал родственнице пройти.

«Ах да, чуть не забыла... – застопорилась она в дверях и пригвоздила сожителя к стенке недобрым взглядом. – Ты пылесосом, случаем, не пользовался?»

Владислав понял, что в вопросе кроется подвох, и только нерешительно качнул головой.

«Так вот он сломан. Как так получилось, что он забился краской? Я сегодня пыталась пропылесосить ковер в гостиной, и догадайся, что случилось. Ты что, мой драгоценный, пролил краску и решил ее убирать пылесосом?!»

Владислав сглотнул, и его губы расплылись в улыбке-конфузе.

«Нет. Я просто думал использовать пылесос как краскопульт», – объяснил он.

«Чего?! Господи боже... Какой еще краскопульт?!» – удивилась родственница.

«По инструкции все должно было работать».

«Господи, Влад, по какой инструкции?! Ты что?! Она ведь от старого пылесоса! Этим нельзя наносить краску! Ужас какой-то! Читать умеешь? Или в школе не научили? Ладно... – она мельком глянула на наручные часики и распахнула дверь. – С первой полочки жду новый пылесос. Не думай, что я буду платить за твою безалаберность. Все, я ушла... – дверь закрылась за ней, и раздался усиленный эхом голос. – Три часа!»

Наведение порядка сводилось к многофункциональному перемещению вещей. Не желая терять времени, Владислав прикрутил карниз у себя в комнате, повесил шторы, а вместо изолированной лампочки (похожей чем-то на неудавшуюся виселицу) в центре комнаты приладил лебединую люстру.

Оставался еще час, и Владислав решил протереть окна, у которых, как и самого жильца, наблюдалась повышенная потливость по утрам, нервозность и нешуточная неуверенность в завтрашнем дне.

Неохотнее всего он взялся за клей и кисточку, чтобы подклеить уголок обоев.

С ними он мучился со дня приезда, а теперь даже смотреть на них не хотелось. Не успел он поклеить их, как они тут же срослись со стенами, стали их безнадежной кожей и предприняли попытку развить исторические сложившиеся оборонительные функции стен, прибавив к ним возможность стать национальным достоянием и культурной ценностью, привлекательной для его глаз-вырожденцев.

Их затейливо-тошнотворный узор, в котором было нечто отталкивающее, все время пытался втянуть взгляд Владислава в бездоходный обмен мнениями, пытался вступить в молчаливую беседу с его выпитыми глазами, постоянно погруженными в консервирующую жидкость ностальгических переживаний и обращенными в прошлое, которое он не хотел отпускать.

Справившись с последним делом, он решил немного передохнуть. Упав на диван-кровать, он окинул взглядом комнату, в которой неожиданно узнал несокрушимое единство стен, держащихся за руки и оплакивающих пол, уходящий у него из-под ног, узнавал непритворную тяжесть судорожно сглатывающего потолка, и, узнавая все это, Владислав даже прослезился.

Прослезился потому, что ему досталась не какая-то определенная жилплощадь с тараканом Петькой (лучшим другом бесприютного детства) за газовой плитой, но умение в этой квартире, увеличенной ностальгической слезой, увидеть именно ту квартиру, в Кексгольме, в которой он когда-то жил...

Вечер в окне был отмечен пунктиром фонарей, как шея удушенного – глубокой странгуляционной бороздой.

«Владик, а, Владик, – помигивая серо-голубыми глазами, толкала его в плечо тетя Ирина. – Скажи-ка, а ты уже присмотрел себе невестку?»

Владислав, втянув плечи и ссутулившись, чтобы уместиться, сидел за столом между брюнетистой тетей Ириной и непрерывно посмеивающейся Фемидой Борисовной, вспоминая недавние часы блаженного одиночества и отравляющей саморефлексии.

«Куда ему невесты! – сказала Фемида. – Ты чего такое говоришь, Ира?! А ну не смей смущать моего мальчика, не в том он еще возрасте, чтобы о таких вещах думать!»

«Брось, Фемида, – отмахнулась брюнетистая тетушка, придерживая Владислава за оттопыренный локоть, в котором сосредоточилось все то небольшое мужское, что еще оставалось в мужчинах. – По-моему, Влад уже довольно зрелый молодой человек, ты так не считаешь? По крайней мере он созрел для разговоров о здоровой эротике и духовной любви... Хотя ты права, быть может, что забежать куда-то дальше рановато, но, в конце концов, подобные разговоры способствуют деинфантилизации и подогревают мальчишеское любопытство к благам родительства и семейной жизни...»

Владислав, скорчившийся от упоминания психологической терминологии, попытался вставить свои пять копеек, пробормотав, что у него до женитьбы просто еще руки не дошли.

«Ничего удивительного! – судейским тоном заключила незнакомая женщина, сидевшая не за столом, а в кресле, читая газету. – В таких серьезных вещах, как регистрация брака и семья никакого канатоходства и акробатики быть не может и не должно!»

«К слову о браке! – Фемида Борисовна с загадочной улыбкой поднялась из-за стола и извлекла из ящика под телевизором фотоальбом. – У меня же тут завалился старый-престарый альбом Виталика и Люды! Ну, кто хочет посмотреть?!»

Обложку положенного на стол альбома испестряли удачные вырезки из неудавшихся фотографий (может, чья-то гримаса портила увековеченный момент или появление пьяного родственника, какой-нибудь отсвет, в конце концов), все кадры с разных времен, будто краткий пересказ содержимого – и только внутри становилось чуточку поинтереснее. Сперва шли черно-белые фотокарточки периода комсомола, когда Виталий и Людмила только познакомились и еще даже не думали, что будут состоять в браке.

Следом за этим девятнадцатилетний Виталий Юрьевич (чью мужественную внешность отметила тетя Ирина), уже отслуживший в советской армии – стоит на танке, одетый в шапку-ушанку, тельняшку, потрепанные шорты и унавоженные сапоги, нога на гусенице, на плече не винтовка, но лопата, и перечеркнутая сигарета, как гвоздь, забита в криво ухмыляющийся рот.

Дальше он же, но уже вернувшийся на родину в двадцатиоднолетнем возрасте и немедленно взявший в жену красавицу-комсомолку Людмилу, розовошекую и дебелую.

«Красавица! Какая же она была красавица...» – умиляясь, сказала тетя Ирина.

Действительно, заметил Владислав, его мать была очень привлекательной женщиной, несмотря на некоторую корпуленцию (с годами, впрочем, она сильно исхудала) и привычку выходить из царственных тазобедренных берегов незапланированной беременностью. И, глядя на нее, Владислав вдруг осознал, что беременность – это не вымысел, а реально существующее заболевание, передающееся половым путем.

Но мысли его вскоре вернулись к матери, к ее нестареющему лицу. Обращал на себя внимание эксплицитный педоморфизм, невидимый возрастом очерк ее девичьего лица и бархатных, бледно-розовых рук.

Сколько Владислав ее помнил, она всегда, что на фотографиях, что в последние годы жизни, выглядела одинаково молодой и, видимо, Виталия Юрьевича подкупили в первую очередь не ее человеческие качества, а примитивный, первобытный половой инстинкт – уж слишком ему хотелось разместить в ее территориальных водах свою сублимированную субмарину, – этот инстинкт и обвел обрадованного остолопа вокруг окольцованного пальца.

Так Виталий Юрьевич нашел Людмилу и, кажется, заслуживал ее корыстной любви, жаждавшей только четырехразового деторождения и свержения тиранихи-матери с престола матриархального превосходства. Даже Владислав помнил, как мамаша упрекала Людмилу в том, что та мало рожает и не быть ей матерью-героиней!

«Злая была женщина, – пробормотала Ирина, – я ее немного помню. Очень злая и... какая-то совсем бешеная. Неприятная особа, уф!»

«Ой, и не говори», – поддержала Фемида Борисовна.

Следующие страницы занимал ряд последовательно датированных фотографий, за кадром которых чувствовалось присутствие случайно выбранного из толпы прохожего, который становился соучастником их преступного брака и первой беременности, когда родился сын Виталик, названный в честь отца и, предполагалось, вынужденный повторить его судьбу.

Были фотографии на фоне крупного крупа конского памятника, под дубом, вокруг которого рассыпаны желуди, на фоне покрашенной скамейки, рядом с которой суетились сизоголубые голуби, а дальше – постоперационный Виталий Юрьевич, у которого уже наметилась округлость живота, утратившего способность уклоняться от ударов ниже пояса, и все четче

среди изнуренных черт его лица вырисовывался восход солнца тридцатилетия и подъем альпиниста по имени возраст.

С гладко выбритой физиономией, застанный врасплах наплывом светло-сиреневой тени, он стоял, о чем-то задумавшийся, а рядом с ним, держа его под локоть, стояла Людмила, и ее воздушно-вздувшееся платье с узором васильков, клевера и выцветших после стирки пионов казалось Владиславу недостающим фрагментом лужайки. Ее внезапно разросшийся живот, на предыдущем фото лишь отдаленно проступавший, возмещал долговременный промежуток между двумя датированными фотографиями.

Глаза женщины были непритворно-живыми, необъяснимо-яркими, спелыми, как два солнца и какими-то... слишком увлеченными жизнью. Стоя рядом с угрюмо-серьезным Виталием, Людмила выглядела как прохладительный напиток. В ней кружились лепестки особенной, заварной любви и нежности, в ее обманчивых мечтах – фруктовый компот, а в ее больной душе – пюре из шиповника.

Виталий же больше был похож на богопротивное рагу с упаднической начинкой, нигилистическую гниль, приторный десерт многолетней депрессии.

«Гляньте, подруги, – ткнула пальцем в фотографию Фемида Борисовна. – А ведь Влад, все-таки, вылитый Виталя! Не отличишь!»

Владислав удивился.

Он действительно был похож на отца, словно это была его фотография сейчас, только вот Виталий Юрьевич был куда привлекательнее, даже несмотря на вытянувшееся, угрюмое лицо.

Неожиданно эта похожесть стала главной темой разговора, и Владислав, будучи единственным тут, благодаря чьему присутствию можно было наглядно сравнить прошлое с настоящим, вновь оказался в центре внимания, как еще теплый труп на столе патологоанатома.

Он будто сейчас изучал историю болезни их семьи.

Все, что они сохранили, что пытались сберечь и продлить с помощью своих детей, их национальное достояние и неприступные бастионы детородного генофонда – все это было историей их многовековой, коллективной, затянувшейся болезни, пик развития которой пришелся на Владислава.

В фотоальбоме оказались и его снимки, в самом раннем возрасте, где он, слегка засвеченный, восседает на коленках Людмилы в слюнявчике и штанишках с подтяжками, а вот уже девятилетний Владислав, переросший на полголовы старшего брата Виталика, но, к сожалению, за такое превышение скорости был оштрафован худобой, непрочностью скелета и одышкой. Что касалось телосложения и даже некоторых черт внешности, Владислав пошел больше в отца, чем в мать, но при всей этой соблюденной похожести на Виталия Юрьевича Владислав оставался его копией только на поверхности – там, где блестело солнце будущих залысин, где отражались птицы пролетающей расчески, и обнаруживалось существование незримого воздуха, соприкасавшегося с замутненной водой неутомимых мыслей.

Был у Владислава тот же, только еще более внушительный рост, наморщенный бронетанковый лоб, та же поза, которую неусидчивость Владислава сводила к фикции. Спина у него нырком, грудь – орлом, подбородок – сверкающим локтем начищенной ложки, а руки – Христом, когда с него снимали мерку в ателье.

И из-за этих неожиданных пересечений между отцом и сыном собравшимся женщинам казалось, что Владислав неминуемо должен если не повторить его жизненный путь и его судьбу, то, по крайней мере, стремиться ему соответствовать.

«Да, хороший он мужик, работающий, надежный...» – со вздохом некоторой грусти сказала тетя Ирина, положив свою теплую ладонь на похолодевшую руку Владислава.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.